

*Etiam si omnes!*¹

¹ Даже если все! (*лат.*) Вариант части фразы апостола Петра, обращенной к Иисусу Христу: «Etiam si omnes, ego non» — «Даже если все, то я — нет [не отрекусь]». Точная библейская цитата: «Ait illi Petrus: „Etiam si oportuerit me mori tecum, non te negabo“», в русском переводе: «Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя» (Мф. 26: 35).

Глава I

СЕНТ-АНТУАНСКИЕ ВОРОТА

26 октября 1585 года цепи у Сент-Антуанских ворот, вопреки обыкновению, были еще натянуты в половине одиннадцатого утра.

Без четверти одиннадцать отряд стражи, состоявший из двадцати швейцарцев, по обмундированию которых видно было, что это швейцарцы из малых кантонов, то есть лучшие друзья царствовавшего тогда короля Генриха III, — показался в конце улицы Мортельри и подошел к Сент-Антуанским воротам, которые тотчас же отворились и, пропустив его, захлопнулись. За воротами швейцарцы выстроились вдоль изгородей, окаймлявших пригородные участки. Одним своим появлением они заставили откатиться назад толпу крестьян и небогатых горожан из Монтрея, Венсена или Сен-Мора, которые хотели проникнуть в город еще до полудня, но не смогли этого сделать, ибо, как мы уже сказали, ворота оказались запертыми.

Если правда, что само скопление людей естественно вызывает беспорядок, можно было бы подумать, что, выслав сюда отряд швейцарцев, господин начальник городской стражи решил предупредить беспорядок, который мог возникнуть у Сент-Антуанских ворот.

В самом деле, толпа собралась большая. По трем сходящимся у ворот дорогам ежесекундно прибывали монахи из пригородных монастырей, женщины верхом на ослах, сидевшие по-дамски, спустив обе ноги по одну сторону вьючного седла, крестьяне в повозках, еще увеличивавших и без того значительное скопление народа, застрявшего у заставы из-за того, что ворота были, против обыкновения, заперты. Все нетерпеливо задавали

друг другу вопросы, отчего возникал своеобразный гул на манер генерал-баса: порой из него вырывались отдельные голоса, поднимающиеся до октавы, угрожающей или жалобной.

Кроме стекавшего со всех сторон народа, который стремился попасть в город, можно было заметить отдельные группы людей, по всей видимости вышедших из города. Вместо того чтобы устремлять свои взоры внутрь Парижа через отверстия в заставах, эти люди пожирали глазами горизонт, где возвышались башни монастыря Святого Иакова и венсенской обители и Фобенский крест, как будто по одной из трех веерообразно расходящихся дорог к ним должен был сойти некий Мессия.

Эти кучки людей в немалой степени напоминали и спокойные островки, поднимающиеся из вод Сены, в то время как бурлящие и играющие вокруг них волны отрывают от берега то кусок дерна, то старый ивовый ствол, который сперва болтается некоторое время в водовороте, а под конец уносится течением.

Эти группы — мы так настойчиво упоминаем о них, ибо они заслуживают нашего пристального внимания, — состояли в большинстве своем из парижских горожан, одетых в плотно прилегающие к телу короткие штаны и теплые куртки, ибо — мы забыли об этом сказать — погода стояла холодная, дул резкий ветер и тяжелые, низкие тучи словно стремились сорвать с деревьев последние желтые листья, печально дрожащие на ветвях.

Трое из этих горожан беседовали, или, вернее, беседовали двое, а третий слушал. Выразим нашу мысль точнее и скажем, что третий, казалось, даже и не слушал: все внимание его было поглощено другим — он не отрываясь смотрел в сторону Венсена.

Займемся же в первую очередь им.

Стоя, он, вероятно, казался бы человеком высокого роста. Но в данный момент его длинные ноги, с которыми он, по-видимому, не знал что делать, когда они не проявляли положенной им активности, были подогнуты, а руки, тоже соответствующей длины, скрещены на груди. Прислонившись к изгороди, где гибкие ветви кустар-

ника служили ему хорошей опорой, он тщательно закрывал широкой ладонью свое лицо, стараясь, видимо, быть сугубо осторожным, как человек, не желающий, чтобы его узнали. Открытым оставался лишь один глаз между средним и указательным пальцами: из узкой щели между ними вырывалась острая стрела его взгляда.

Рядом с этой странной личностью находился какой-то маленький человечек, который, вскарабкавшись на пригорок, разговаривал с неким толстяком, еле сохранявшим равновесие на склоне того же пригорка; чтобы не упасть, толстяк то и дело хватался за пуговицу на куртке своего собеседника.

Это были два горожанина, которые вместе с сидящим на корточках человеком составляли кабалистическую трицу, упомянутую нами в одном из предыдущих абзацев.

— Да, мэтр Митон, — говорил низенький толстому, — говорю вам и повторяю, что сегодня у эшафота Сальседа будет — самое меньшее — сто тысяч человек народу. Смотрите: не считая тех, кто уже находится на Гревской площади или кто направляется туда из различных кварталов Парижа, смотрите, сколько народу собралось здесь, а ведь это всего лишь одни из ворот! Судите сами: всех-то ворот, если их хорошо сосчитать, — шестнадцать.

— Сто тысяч — эка загнули, кум Фриар, — ответил толстяк. — Ведь многие, поверьте, сделают, как я, и, опасаясь давки, не пойдут смотреть на четвертование этого несчастного Сальседа; и они будут правы.

— Мэтр Митон, мэтр Митон, поберегитесь! — ответил низенький. — Вы говорите как политик. Ничего, решительно ничего не случится, ручаюсь вам.

И, видя, что собеседник с сомнением покачивает головой, он обратился к человеку с длинными руками и ногами:

— Не правда ли, сударь?

Тот, уже не глядя в сторону Венсена, но по-прежнему не отнимая ладони от лица, переменял прицел и избрал теперь предметом своего внимания заставу.

— Простите? — спросил он, словно расслышав только обращенные к нему слова, а не то, что предшествовало обращению и предназначалось второму горожанину.

— Я говорю, что на Гревской площади сегодня ничего не произойдет.

— Думаю, что вы ошибаетесь и произойдет четвертование Сальседа, — спокойно ответил длиннорукий.

— Да, разумеется, но, повторяю, из-за этого четвертования никакого шума не будет.

— Будут слышны удары кнута, хлещущего по лошадям.

— Вы меня не уразумели. Говоря о шуме, я имею в виду бунт. Так вот, я утверждаю, что на Гревской площади дело обойдется без бунта. Если бы предполагался бунт, король не велел бы разукрасить одну из лоджий ратуши, чтобы смотреть из нее на казнь вместе с обеими королевами и частью придворных.

— Разве короли когда-либо знают заранее, что будет бунт? — сказал длиннорукий и длинноногий, пожимая плечами с выражением снисходительнейшей жалости.

— Ого! — шепнул мэтр Митон на ухо своему собеседнику. — Этот человек весьма странно разговаривает. Вы его знаете, куманек?

— Нет, — ответил низенький.

— Так зачем же вы завели с ним разговор?

— Да просто чтобы поговорить.

— Напрасно: вы же видите, что он не разговорчив.

— Мне все же представляется, — продолжал кум Фриар достаточно громко, чтобы его слышал длиннорукий, — что одна из приятнейших вещей на свете — это обмен мыслями.

— С теми, кого знаешь, — это верно, — ответил мэтр Митон, — но не с теми, кто тебе незнаком.

— Разве люди не братья, как говорит священник из церкви Сен-Лэ? — проникновенным тоном добавил кум Фриар.

— То есть так было в начале времен. Но в такое время, как наше, родственные связи что-то ослабли, куманек Фриар. Если уж вам так хочется разговаривать, бесе-

дуйте со мной и оставьте в покое этого чужака — пусть размышляет о своих делах.

— Но ведь вас-то, как вы сами сказали, я уже давно знаю, и мне заранее известно все, что вы мне ответите. А этот незнакомец, может быть, сказал бы мне что-нибудь новенькое!

— Тсс! Он вас слушает.

— Тем лучше. Может быть, он ответит. Так, значит, сударь, — продолжал кум Фриар, оборачиваясь к незнакомцу, — вы думаете, что на Гревской площади будет заваруха?

— Я ничего подобного не говорил.

— Да я и не утверждаю, что вы говорили, — продолжал Фриар тоном человека, считающего себя весьма проникательным, — я полагаю, что вы так думаете, вот и все.

— А на чем основана эта ваша уверенность? Уж не колдун ли вы, господин Фриар?

— Смотрите-ка! Он меня знает! — вскричал до крайности изумленный горожанин. — Откуда же?

— Да ведь я назвал вас раза два или три, куманек! — сказал Митон, пожимая плечами, как человек, которому стыдно перед посторонним за глупость своего собеседника.

— Ах, правда ведь, — сказал Фриар, сделав усилие, чтобы понять, и благодаря этому усилию уразумев, в чем дело. — Честное слово, правда. Ну, раз он меня знает, так уж ответит.

— Так вот, сударь мой, — продолжал он, снова обращившись к незнакомцу, — я думаю, что вы думаете, что на Гревской площади поднимется шум, ибо если бы вы так не думали, то находились бы там, а вы, напротив, находитесь здесь... ах ты!

Это «ах ты» доказывало, что кум Фриар достиг в своих умозаключениях последних доступных его уму в логике пределов.

— Но вы-то, господин Фриар, раз вы думаете обратное тому, что, как вы думаете, думаю я, — ответил незнакомец, нарочно подчеркивая слова, которые обращавшийся к нему горожанин уже произносил и даже

повторял, — почему вы не на Гревской площади? Мне, например, кажется, что предстоящее зрелище должно радовать друзей короля и они все должны там собраться. Но на это вы, пожалуй, ответите, что принадлежите не к друзьям короля, а к друзьям господина де Гиза и поджидаете здесь лотарингцев, которые, говорят, намерены вторгнуться в Париж и освободить господина де Сальседа.

— Нет, сударь, — поспешно возразил низенький, явно напуганный предположением незнакомца. — Нет, сударь, я поджидаю свою жену мадемуазель Николь Фриар: она пошла в аббатство Святого Иакова отнести двадцать четыре скатерти, ибо имеет честь состоять личной прачкой дома Модеста Горанфло, настоятеля означенного монастыря. Но, возвращаясь к суматохе, о которой говорил кум Митон и в которую не верю ни я, ни вы, как, по крайней мере, вы утверждаете...

— Куманек! Куманек! — вскричал Митон. — Смотрите-ка, что происходит.

Мэтр Фриар посмотрел туда, куда указывал пальцем его сотоварищ, и увидел, что закрывают не только заставы, что уже весьма волновало все умы, но и ворота.

Когда они были заперты, часть швейцарцев вышла вперед и встала перед рвом.

— Как, как! — вскричал побледневший Фриар. — Им мало заставы, они теперь и ворота закрывают!

— А что я вам говорил? — ответил, бледнея в свою очередь, Митон.

— Забавно, не правда ли? — заметил, смеясь, незнакомец. При этом он выставил напоказ сверкающий между усами и бородой двойной ряд белых острых зубов, видимо, на редкость хорошо отточенных благодаря привычке пускать их в дело не менее четырех раз в день.

При виде того, что принимаются новые меры предосторожности, из густой толпы народа, загромадившей подступы к заставе, поднялся ропот изумления и раздались даже возгласы ужаса.

— Осади назад! — повелительно крикнул какой-то офицер.

Приказание было тотчас же выполнено, однако не без затруднений: верховые и люди в повозках, вынужденные податься назад, кое-кому в толпе отдавили ноги и помяли ребра. Женщины кричали, мужчины ругались. Кто мог бежать — бежал, опрокидывая других.

— Лотарингцы! Лотарингцы! — крикнул среди всей этой суматохи чей-то голос.

Самый ужасный вопль, заимствованный из небогатого словаря страха, не произвел бы действия более быстрого и решительного, чем этот возглас:

— Лотарингцы!!!

— Ну вот видите, видите! — вскричал, дрожа, Митон. — Лотарингцы, бежим!

— А куда бежать? — спросил Фриар.

— На этот пустырь, — крикнул Митон, раздирая руки о колючки живой изгороди, под которой удобно расположился незнакомец.

— На этот пустырь? — переспросил Фриар. — Это легче сказать, чем сделать, мэтр Митон. Никакого отверстия в изгороди я что-то не вижу, а вы вряд ли рассчитываете перелезть через нее — она будет повыше меня.

— Попробую, — сказал Митон, — попробую.

И он удвоил свои старания.

— Поосторожнее, добрая женщина! — вскричал Фриар отчаянным голосом человека, окончательно теряющего голову. — Ваш осел наступает мне на пятки. Уф! Господин всадник, осторожнее, ваша лошадь нас раздавит. Черт побери, друг возчик, ваша оглобля переломает мне ребра.

Пока мэтр Митон цеплялся за ветви изгороди, чтобы перебраться через нее, а кум Фриар тщетно искал какого-нибудь отверстия, чтобы проскользнуть низом, незнакомец поднялся, раздвинул просто-напросто циркулем свои длинные ноги и одним движением, словно всадник, прыгающий в седло, перемахнул через изгородь, да так, что ни одна ветка не задела его штанов.

Мэтр Митон последовал его примеру, порвав штаны в трех местах. Но с кумом Фриаром дело обстояло хуже: он не мог перебраться ни верхом, ни низом и, подвергаясь

все большей опасности быть раздавленным напором толпы, испускал душераздирающие вопли. Тогда незнакомец протянул свою длинную руку, схватил Фриара сразу за гофрированный воротник и за ворот куртки и, приподняв, перенес его на ту сторону изгороди, как малого ребенка.

— О-го-го! — вскричал мэтр Митон в восторге от этого зрелища, следя глазами за вознесением и нисхождением своего друга мэтра Фриара. — Вы похожи на вывеску «Большого Авессалома»!

— Уф! — выдохнул из себя Фриар, ступив на твердую землю, — на что бы я там ни был похож, но наконец-то мне удалось перебраться через изгородь, и лишь благодаря этому господину.

Затем, вытянувшись во весь рост, чтобы разглядеть незнакомца, которому он доходил только до груди, мэтр Фриар продолжал:

— Век Бога за вас молить буду! Сударь, вы истинный Геркулес, честное слово, это так же верно, как то, что я зовусь Жан Фриар. Скажи же мне свое имя, сударь, имя моего спасителя, моего... друга!

Это последнее слово добряк произнес со всем пылом глубоко благородного сердца.

— Меня зовут Брике, сударь, — ответил незнакомец. — Робер Брике, к вашим услугам.

— Вы уж, смею сказать, мне здорово услужили, господин Робер Брике. Жена благословлять вас будет. Но кстати, бедная моя женушка! О боже мой, боже мой, ее задавят в этой толпе. Ах, проклятые швейцарцы, они только и годны на то, чтобы давить людей!

Не успел кум Фриар произнести эти последние слова, как ощутил на своем плече чью-то руку, тяжелую, как рука каменной статуи.

Он обернулся, чтобы взглянуть на нахала, разрешившего себе подобную вольность.

То был швейцарец.

— Фы хотите, чтоп фам расмосшили череп, трушок? — произнес богатырского сложения солдат.

— Ах, мы окружены! — вскричал Фриар.

— Спасайся, кто может! — подхватил Митон.

Оба они, будучи уже по ту сторону изгороди, где ничто не преграждало им дороги, пустились наутек, сопровождаемые насмешливым взглядом и беззвучным смехом длиннорукого и длинноногого незнакомца. Потеряв их из виду, он подошел к швейцарцу, которого поставили тут в качестве дозорного.

— Рука у вас мощная, приятель, не так ли?

— Ну та, сударь, не слапá, не слапá.

— Тем лучше, сейчас это важно, особенно если правда, что идут лотарингцы.

— Они не идут.

— Нет?

— Совсем нет.

— Там зачем же было запирать ворота? Я не понимаю.

— Та фам и не нужно понимать, — ответил швейцарец, расхохотавшись над собственной шуткой.

— Прафильно, труг, ошень прафильно, — сказал Робер Брике, — спасибо.

И Робер Брике отошел от швейцарца и приблизился к другой кучке людей, а достойный гельвет, перестав смеяться, пробормотал:

— Bei Gott ich glaube, er spottet meiner. Was ist das für ein Mann, der sich erlaubt, einen Schweizer seiner königlichen Majestät auszulachen? — Что в переводе означает: «Клянусь Богом! Кажется, он надо мною смеялся! Что за человек, осмелившийся насмеяться над швейцарцем его королевского величества?»

Глава II

ЧТО ПРОИСХОДИЛО У СЕНТ-АНТУАНСКИХ ВОРОТ

Одну из собравшихся здесь групп составляло довольно значительное количество горожан, оставшихся вне городских стен после того, как ворота были неожиданно

заперты. Люди эти столпились возле четырех или пяти всадников весьма воинственного вида, которых, видимо, очень не устраивало, что ворота были на запоре, ибо они изо всех сил орали:

— Ворота! Ворота!

Крики эти, с еще большей яростью подхваченные всеми присутствующими, производили адский шум.

Робер Брике подошел к этим горожанам и принялся кричать громче всех прочих:

— Ворота! Ворота!

В конце концов один из всадников, восхищенный мощью его голоса, обернулся к нему, поклонился и сказал:

— Ну не позор ли, сударь, что среди бела дня закрывают городские ворота, словно Париж осадили испанцы или англичане?

Робер Брике внимательно посмотрел на заговорившего с ним человека лет сорока — сорока пяти. Человек этот вдобавок являлся, по-видимому, начальником трех-четырёх окружавших его всадников.

Робер Брике, надо полагать, оказался удовлетворен осмотром, ибо он в свою очередь поклонился и ответил:

— Ах, сударь, вы правы, десять, двадцать раз правы. Но, — добавил он, — не хочу проявлять излишнего любопытства, однако все же осмелюсь спросить вас, по какой, на ваш взгляд, причине принята подобная мера?

— Да, ей-богу же, — произнес кто-то из присутствующих, — они боятся, чтобы не скушали ихнего Сальседа.

— К черту! — раздался чей-то голос. — Еда довольно паршивая!

Робер Брике обернулся в ту сторону, откуда послышался этот голос с акцентом, выдававшим несомненнейшего гасконца, и увидел молодого человека двадцати—двадцати пяти лет, опиравшегося рукой на круп лошади того, кто показался ему начальником.

Молодой человек был без шляпы, несомненно, он потерял ее в суматохе.

Мэтр Брике был по всем данным отличным наблюдателем, но вообще он ни в кого не вглядывался слишком

долго. Поэтому он быстро отвел взгляд от гасконца, видимо не показавшегося ему стоящим внимания, и перевел его на всадника.

— Но, — сказал он, — ведь говорят, что этот Сальсед приспешник господина де Гиза, значит он не такое уж жалкое кушанье.

— Да ну, неужто так говорят? — спросил любопытный гасконец, весь превратившись в слух.

— Да, конечно, говорят, — ответил, пожимая плечами, всадник. — Но теперь болтают много всякой чепухи!

— Ах вот как, — вмешался Брике, устремляя на него вопрошающий взгляд и насмешливо улыбаясь, — вы, значит, думаете, сударь, что Сальсед не имеет отношения к господину де Гизу?

— Не только думаю, но даже уверен, — ответил всадник.

Тут он заметил, что Робер Брике сделал движение, означавшее: «А на чем основывается эта ваша уверенность?» — и потому тотчас же добавил:

— Если бы Сальсед был одним из людей *герцога*, тот, без сомнения, не допустил бы, чтобы его схватили или, во всяком случае, чтобы доставили из Брюсселя в Париж связанным по рукам и ногам, или, по крайней мере, попытался бы силой освободить пленника.

— Освободить силой, — повторил Брике, — было бы очень рискованным делом. Удалась бы эта попытка или нет, но уж раз она исходила бы от господина де Гиза, он тем самым признал бы, что устроил заговор против герцога Анжуйского.

— Господина де Гиза, — сухим тоном продолжал всадник, — такое соображение не остановило бы, я в этом уверен, и раз он не потребовал выдачи Сальседа и не защищал его, значит Сальсед не его человек.

— Простите, что я настаиваю, — продолжал Брике, — но я ничего не выдумал. Сведения о том, что Сальсед заговорил, — вполне достоверны.

— Где он говорил? На суде?

— Нет, не на суде, сударь, во время пытки. Но разве это не все равно? — спросил мэтр Брике с плохо разыгранным простодушием.

— Конечно, не все равно, хорошее дело! Ладно, пусть утверждают, что он заговорил. Однако неизвестно, что именно он сказал.

— Еще раз прошу извинить меня, сударь, — продолжал Робер Брике, — известно, и во всех подробностях.

— Ну, так что же он сказал? — с раздражением спросил всадник. — Говорите, раз вы так хорошо осведомлены.

— Я не хвалоюсь своей осведомленностью, сударь, наоборот, — я стараюсь от вас что-нибудь узнать, — ответил Брике.

— Ладно, договоримся! — нетерпеливо сказал всадник. — Вы утверждаете, будто известны показания Сальседа; что же он, собственно, сказал? Ну-ка?

— Я не могу ручаться, что это подлинные его слова, — сказал Робер Брике; видимо, ему доставляло удовольствие дразнить всадника.

— Но, в конце-то концов, какие же речи ему приписываются?

— Говорят, он признался, что участвовал в заговоре в пользу господина де Гиза.

— Против короля Франции, разумеется? Старая песня!

— Нет, не против его величества короля Франции, против его высочества монсеньора герцога Анжуйского.

— Если он в этом признался...

— Так что? — спросил Робер Брике.

— Так он негодяй! — нахмурился, произнес всадник.

— Да, — тихо сказал Робер Брике, — но он молодец, если сделал то, в чем признался. Ах, сударь, железные сапоги, дыба и котелок с кипящей водой хорошо развязывают языки порядочным людям.

— Увы! Истинная правда, сударь, — сказал всадник, смягчаясь и глубоко вздыхая.

— Подумаешь! — прервал гасконец, который все время вытягивал шею то к одному, то к другому из собеседников и слышал весь разговор. — Подумаешь! Сапоги, дыба, котелок, — какие пустяки! Если этот Сальсед заговорил, так он негодяй, да и хозяин его тоже.

— Ого! — молвил всадник, будучи не в силах сдерживать раздражения. — Громко же вы поете, господин гасконец.

— Я?

— Да, вы.

— Я пою на мотив, который мне по вкусу, черт побери. Тем хуже для тех, кому мое пение не нравится.

Всадник сделал гневное движение.

— Потихше! — раздался чей-то голос, негромкий и в то же время повелительный. Робер Брике тщетно старался уяснить себе, кто это сказал.

Всадник явно пытался сделать над собою усилие. Однако у него не хватило воли полностью сдержать свой порыв.

— А хорошо ли вы знаете тех, о ком говорите, сударь? — спросил он у гасконца.

— Знаю ли я Сальседа?

— Да.

— Ни в малейшей степени.

— А герцога Гиза?

— Тоже.

— А герцога Алансонского?

— Еще того меньше.

— Знаете ли вы, что господин де Сальсед храбрец?

— Тем лучше. Он храбро примет смерть.

— И что когда господин де Гиз устраивает заговоры, то он сам в них участвует?

— Черт побери! Да мне-то что до этого?

— И что монсеньор герцог Анжуйский, прежде называвшийся Алансонским, велел убить или допустил, чтобы убили всех, кто за него стоял: Ла Моля, Коконнаса, Бюсси и других.

— Наплевать мне на это!
— Как! Вам наплевать?
— Мейнвиль! Мейнвиль! — тихо прозвучал тот же голос.

— Конечно наплевать. Я знаю только одно, клянусь кровью Христовой: сегодня у меня в Париже спешное дело, а из-за этого бешеного Сальседа прямо перед моим носом запирают ворота. Черт побери! Дрянь этот ваш Сальсед да и все те в придачу, из-за кого закрывают ворота, которым полагается быть открытыми.

— Ого! Гасконец-то шутить не любит, — пробормотал Брике. — И мы, пожалуй, увидим кое-что любопытное.

Но любопытные вещи, которых ожидал горожанин, так и не произошли. При этом последнем восклицании кровь бросилась в лицо всаднику, но тем не менее он молча проглотил свой гнев.

— В конце концов вы правы, — сказал он, — к черту всех, кто не дает нам попасть в Париж.

«Ого! — подумал Робер Брике, внимательно следивший и за тем, как менялся в лице всадник, и за тем, как его терпению дважды бросался вызов. — Похоже, что я увижу нечто еще более любопытное, чем ожидал».

Пока он размышлял таким образом, раздался звук трубы. Почти тотчас же вслед за тем швейцарцы, орудуя алебардами, проложили себе путь через гущу народа, словно разрезая гигантский пирог с жаворонками, и разделили собравшиеся группы людей на два плотных куска: люди выстроились по обеим сторонам дороги, оставив посередине свободный проход.

По этому проходу стал разъезжать взад и вперед на своем коне уже упоминавшийся нами офицер, которому, судя по всему, вверена была охрана ворот. Затем, с вызывающим видом оглядев толпу, он велел трубить.

Это было тотчас же исполнено, и в толпе по обе стороны дороги воцарилось молчание, которого, казалось, невозможно было ожидать после такого волнения и шума.

Тогда глашатай, в расшитом лилиями мундире и с гербом города Парижа на груди, выехал вперед, держа в руке

такую-то бумагу, и прочитал гнусавым, как у всех глашатаев, голосом:

— «Доводим до сведения жителей нашего славного города Парижа и его окрестностей, что городские ворота будут закрыты отселе до часу пополудни и что до указанного времени никто не вступит в город. На то — воля короля и постановление господина парижского прево».

Глашатай остановился передохнуть. Присутствующие воспользовались этой паузой, чтобы выразить свое удивление и недовольство долгим улюлюканьем, которое глашатай, надо отдать ему справедливость, выдержал и глазом не моргнув.

Офицер повелительно поднял руку, и тотчас же восстановилась тишина.

Глашатай продолжал безо всякого смущения и колебания; привычка, видимо, закалила его против каких бы то ни было проявлений народных чувств:

— «Мера эта не касается тех, кто предъявит опознавательный знак или же окажется вызванным по особому, должным образом составленному письму или приказу.

Дано в Управлении парижского прево по чрезвычайному приказу его величества двадцать шестого октября в год от Рождества Господа нашего тысяча пятьсот семьдесят пятый».

— Трубить в трубы!

Тотчас же раздался хриплый лай труб.

Едва глашатай умолк, как толпа за цепью швейцарцев и солдат дрогнула и зашевелилась, словно тело змеи, чьи кольца набухают и извиваются.

— Что это означает? — спрашивали друг у друга наиболее мирно настроенные. — Наверно, опять какой-нибудь заговор!

— Ого! Это, безо всякого сомнения, устроено для того, чтобы помешать нам войти в Париж, — тихо сказал своим спутникам всадник, со столь диковинным терпением сносивший дерзкие выходки гасконца. — Швейцарцы, глашатай, затворы, трубы — все это ради нас. Клянусь душой, я даже горд.

— Дорогу! Дорогу! Эй, вы, там! — кричал офицер, командовавший отрядом. — Тысяча чертей! Или вы не видите, что загородили проход тем, кто имеет право войти в городские ворота?

— Я, черт возьми, знаю одного человека, который пройдет, хотя бы все на свете горожане стояли между ним и заставой, — сказал, бесцеремонно протискиваясь сквозь толпу, гасконец, чьи дерзкие речи вызвали восхищение у мэтра Робера Брике.

И действительно, он мгновенно очутился в свободном проходе, образовавшемся благодаря швейцарцам между двумя шеренгами зрителей.

Можно себе представить, с какой поспешностью и любопытством обратились все взоры на человека, которому посчастливилось выйти вперед, когда ему велено было оставаться на месте.

Но гасконца мало тревожили все эти завистливые взгляды. Он с гордым видом остановился, напрягая все мускулы своего тела под тонкой зеленой курткой, крепко натянутые каким-то внутренним рычагом. Из-под слишком коротких потертых рукавов на добрых три дюйма выступали сухие костлявые запястья. Глаза были светлые, волосы курчавые и желтые либо от природы, либо по причине случайной, ибо такой цвет они приобрели отчасти от дорожной пыли. Длинные гибкие ноги хорошо прилаживались к лодыжкам, сухим и жилистым, как у оленя. Одна рука, притом только одна, затянута была в вышитую кожаную перчатку, в немалой степени изумленную тем, что ей приходится защищать кожу, гораздо более грубую, чем та, из которой сделана она сама; в другой он вертел ореховую палку. Сперва он быстро огляделся по сторонам; затем, решив, что уже упоминавшийся нами офицер самое важное в отряде лицо, пошел прямо к нему.

Тот некоторое время созерцал его, прежде чем заговорить.

Гасконец, отнюдь не смутившись, делал то же самое.

— Вы, видно, потеряли шляпу, — сказал офицер.

— Да, сударь.

— В толпе?

— Нет. Я получил письмо от своей любовницы, стал его читать, черт побери, у речки за четверть мили отсюда, как вдруг порыв ветра унес и письмо и шляпу. Я побежал за письмом, хотя пряжка у меня на шляпе — крупный бриллиант. Схватил письмо, но когда вернулся за шляпой, оказалось, что ветром ее занесло в речку, а по течению речки она уплыла в Париж!.. Какой-нибудь бедняк на этом деле разбогатеет. Пускай!

— Так что вы остались без головного убора?

— А что, в Париже я шляпы не достану, черт побери! Куплю себе шляпу еще красивее и украшу бриллиантом в два раза крупнее.

Офицер едва заметно пожал плечами. Но при всей своей незаметности, движение это от гасконца не ускользнуло.

— В чем дело? — сказал он.

— У вас есть пропуск? — спросил офицер.

— Конечно есть, даже не один, а два.

— Одного хватит, только бы он был в порядке.

— Но если я не ошибаюсь, — да нет, черт побери, не ошибаюсь, — я имею удовольствие беседовать с господином де Луаньяком?

— Вполне возможно, сударь, — сухо ответил офицер, отнюдь не пришедший в восторг оттого, что оказался узанным.

— С господином де Луаньяком, моим земляком?

— Отрицать не стану.

— С моим кузеном!

— Ладно, давайте пропуск.

— Вот он.

Гасконец вытащил из перчатки искусно вырезанную половину карточки.

— Идите за мной, — сказал Луаньяк, не взглянув на карточку, — вы и ваши спутники, если с вами кто-нибудь есть. Сейчас мы проверим пропуска.

И он занял место у самых ворот.

Гасконец с непокрытой головой последовал за ним.

Пятеро других личностей потянулись за гасконцем.

На первой из них была великолепная кираса такой изумительной работы, что казалось, она вышла из рук самого Бенвенуто Челлини. Однако фасон, по которому кираса была вычеканена, уж несколько вышел из моды, и потому эта роскошь вызвала не столько восторг, сколько насмешку.

Правда, все другие части костюма, в который облачен был владелец кирасы, отнюдь не соответствовали почти царскому великолепию этой вывески.

Второй спутник гасконца шел в сопровождении толстого седоватого слуги: тощий и загорелый, он представлялся каким-то прообразом Дон Кихота, как и слуга его мог сойти за прообраз Санчо Пансы.

У третьего в руках был десятимесячный младенец, за ним шла, уцепившись за его кожаный пояс, женщина, а за ее юбку держались еще два ребенка — один четырех, другой пяти лет.

Четвертый хромал и казался словно привязанным к своей длинной шпаге.

Наконец, шествие замыкал красивый молодой человек верхом на вороном коне, покрытом пылью, но явно породистом.

По сравнению с прочими он казался настоящим королем.

Вынужденный продвигаться вперед достаточно медленно, чтобы не опережать своих сотоварищей, и, может быть, даже внутренне радуясь тому, что ему не приходится держаться слишком близко к ним, этот молодой человек на мгновение задержался у шеренги, образованной столпившимся народом.

В тот же миг он почувствовал, как кто-то потянул его за ножны шпаги, и тотчас же обернулся.

Оказалось, что задел его и привлек таким образом к себе его внимание черноволосый юноша с горящим взглядом, невысокий, гибкий, изящный, с затянутыми в перчатки руками.

— Что вам угодно, сударь? — спросил наш всадник.
— Сударь, попрошу у вас об одном одолжении.
— Говорите, только поскорее, пожалуйста; видите, меня ждут.

— Мне надо попасть в город, сударь, мне это до крайности необходимо, понимаете?.. А вы одни, и вам нужен паж, который оказался бы под стать вашей внешности.

— Так что же?

— Так вот, услуга за услугу: проведите меня в город, и я буду вашим пажом.

— Благодарю вас, — сказал всадник, — но я совсем не нуждаюсь в слугах.

— Даже в таком, как я? — спросил юноша, так странно улыбнувшись, что всадник почувствовал, как ледяная оболочка, в которую он пытался заключить свое сердце, начала таять.

— Я хотел сказать, что не могу держать слуг.

— Да, я знаю, что вы не богаты, господин Эрнотон де Карменж, — произнес юный паж.

Всадник вздрогнул. Но, не обращая на это внимание, мальчик продолжал:

— Поэтому о жалованье мы говорить не станем, и даже наоборот, если вы согласитесь исполнить мою просьбу, вам заплатят в сто раз дороже, чем стоит услуга, которую вы мне окажете! Прошу вас, позвольте же мне послужить вам, помня, что тому, кто сейчас просит вас, случалось отдавать приказания.

И юноша пожал всаднику руку, что со стороны пажа было довольно бесцеремонно. Затем, обернувшись к уже известной нам группе всадников, он сказал:

— Я прохожу, это главное. Вы, Мейнвиль, постарайтесь сделать то же самое каким угодно способом.

— Пройти — это еще не все, — ответил дворянин, — нужно, чтобы он вас увидел.

— О, не беспокойтесь. Если уж я пройду через эти ворота, он меня увидит.

— Не забудьте условного знака.